

трудовых контактов не отмечены более нигде (см.: [1, с. 197–206]). Этот временный словарный запас из русского языка, согласно выводам Карин Метцер [2], и позже еще использовался преимущественно теми лицами, которые оставались работать на ответственных постах в «Висмуте».

Этот приведенный выше небольшой словарь служит свидетельством тяжелой трудовой жизни горняков. Многие восточные немцы в то время завидовали шахтерам из «Висмута». Это было обусловлено лучшим снабжением шахтеров продуктами питания, а также их значительно более высокой зарплатой. Поэтому этих шахтеров, работающих в тяжелых условиях, стали вскоре часто называть уничижительным заимствованным из русского языка словом *Schachter* (шахтер).

Список литературы

1. Hengst K. Beobachtungen zu Entlehnungen aus dem Russischen ins Deutsche im Bereich des Fachwortschatzes // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Berlin, 1980. В. 33. S. 197–206.
2. Metzger K. Russische Lehnwörter in der Sprache der Wismutkumpel. Masch.-schriftl. Staatsexamensarbeit. Zwickau, 1969.
3. Trebbin L. Die deutschen Lehnwörter in der russischen Bergmannssprache. Berlin: Freie Universität, 1957.
4. Wolf H. Studien zur deutschen Bergmannssprache. Tübingen, 1958.

Russian words in the field of mining in everyday life of the miners of the Ore Mountains: research on the influence of the Russian language on German after 1945

The article deals with the features of speech of the miners of the uranium mine at the company "Bismuth". The influence of the Russian language on the vocabulary of German miners of the early decades of the uranium mine operation is studied. Only the words from the uranium production field are under consideration. Most of them are unknown to native German speakers who do not deal with uranium mining. Such borrowings from a foreign language in everyday and professional language as the result of long contacts cannot be found anywhere else.

Key words: *language of miners, vocabulary, borrowing, professionalism, calque, German language speaking, communicative sphere.*

(Статья поступила в редакцию 22.02.2017)

И.И. ЧЕСНОКОВ
(Волгоград)

КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВИНДИКТИВНОГО ДИСКУРСА

Описываются психический эпицентр, мотив, цель, стратегии и тактики vindиктивного дискурса. Получают освещение взаимосвязанные процессы ритуализации и косвенной презентации названного вида знаковой деятельности. В этих процессах обнаруживаются некоторые универсальные психосоциальные закономерности формирования дискурсивного сознания и ситуативно обусловленного знакового поведения.

Ключевые слова: *эмоциональный поведенческий концепт «мечь», vindиктивный дискурс, стратегия устрашения, тактика угрозы, стратегия проклятия, тактика изгнания, тактика поругания, тактика злопожелания, ритуализация, косвенная презентация.*

Одним из источников социальной активности человека является эмоциональный концепт, представленный в русскоязычном быденном сознании ключевым словом «мечь». Названный концепт находит свое выражение не только в предметно-практической, но и возникшей на ее основе знаковой деятельности, которая характеризуется фрустрационной обусловленностью, осознанностью, целенаправленностью, агрессивностью и по прагматическим параметрам определяется нами как vindиктивный дискурс (далее – ВД) [21, с. 7 – 8].

Описание природы и развития ВД описывается на существующий в биосемиотике тезис, согласно которому живой организм познаёт мир посредством цикла взаимодействий с различными его проявлениями [15, с. 28]. Чем чаще и интенсивнее взаимодействует организм с определённой реалией, тем интенсивнее вычлняются из этой реалии опознавательные признаки, и знаки развиваются прежде всего в тех взаимодействиях, которые наиболее регулярны и значимы для поддержания жизненного цикла. На уровне биологической жизни эта область находится в точке пересечения двух фундаментальных инстинктов – бегства и борьбы (агрессии). На психическом уровне организации живой системы складывается система знания, в которой структурирующим фактором является значимость, или

ценность, воспринимаемой реалии. Степень значимости, в свою очередь, определяет место данной реалии в системе репрезентаций, и, соответственно, центр системы должна занимать та область взаимодействия организма с внешней средой, которая наиболее значима для поддержания его жизнедеятельности.

Для первых людей наиболее регулярными и значимыми в этом смысле являлись ситуации, в которых присутствовала непосредственная, исходящая от природы, животных и особей *homo sapiens* угроза их существованию [9; 10].

В подобного рода ситуациях происходит активация общебиологического скрипта, связывающего перцепцию негативного воздействия и ответную vindиктивную реакцию подобием рефлекторной дуги [11, с. 345]. На психическом уровне организации знания при этом формируется ситуативная эмоционально-когнитивная доминанта (месть), представляющая собой комплекс чувств–мыслей–побуждений, объединенных общей модальностью ведения борьбы (см.: [19; 22]). Частотность жизненных ситуаций, в которых пересекаются интересы особей одного вида, ведущих борьбу за жизненное пространство, обуславливает устойчивый характер названной эмоционально-когнитивной доминанты и предопределяет возникновение процесса ритуализации – устойчивого воспроизводства определенной совокупности жизненно значимых действий с изначальной двунаправленной сигнальной функцией: 1) угроза приближающемуся агрессору и 2) призыв к объединению особей одного вида в замкнутую группу [10, с. 173–174]. Подобного рода ритуализованные действия, по мнению этологов, возникают естественным путем, в значительной степени аналогичным эволюции социальных инстинктов у животных [Там же, с. 188], и, превращаясь в средство общения между особями одного вида, становятся первичными знаками [16, с. 6], на базе которых, в свою очередь, развиваются уже собственно языковые явления [17, с. 22].

Опираясь на представленную выше интерпретацию семантики ритуализованных действий, можно предположить, что ВД (во всем многообразии его современных презентаций) восходит к некогда единому сигналу, посылаемому субъектом угрожающему объекту в качестве ответной угрозы и являющемуся одновременно призывом к объединению сородичей в борьбе с врагом. Данный сигнал ставил адресата-сородича перед выбором: либо

«становиться в строй» для устранения угрозы и защиты своей территории, либо подвергаться vindиктивному воздействию и оказываться выброшенным за ее пределы. Третьего в ситуации военного типа, как известно, не дано. «Занимающий место в строю» принимал на себя определенные воинские обязанности, чем подтверждал статус своего и, естественно, подвергал себя угрозе наказания со стороны иерархически организованного сообщества за их нарушение. Поэтому клятва как знаково оформленное социальное действие (уже вне наличной ситуации военного противостояния) непременно включает в себя (имплицитно или эксплицитно) идею возмездия за нарушение принимаемых обязательств. Можно сказать и так, что реализующаяся в акте угрозы инвариантная коммуникативно-прагматическая установка – соблюдай границу, иначе тебя постигнет кара – переориентируется дающим клятву на себя и становится структурообразующим элементом данного социального действия: ... *Если же я нарушу эту торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара трудового народа, всеобщая ненависть и презрение трудящихся* [18].

Нарушение клятвы членом данного сообщества, как и игнорирование противником предостерегающего сигнала угрозы, ведет к реализации заложенной в данные знаково-вербальные акты vindиктивной составляющей, которая в наиболее общих чертах сводится к предметно-практическим действиям, направленным на физическое уничтожение, выталкивание за пределы своей территории или поругание (т. е. избиение) агрессора. Осуществление названных действий в состоянии повышенного эмоционального напряжения, вероятно, стимулирует знаково-вербальную объективацию и передачу объекту vindиктивного воздействия соответствующих им интенций – убить (или нанести вред здоровью), изгнать, унижить. (Вербальными коррелятами названных интенций в современной русской лингвокультуре являются такие идиоматизированные волитивы, как *чтоб ты сдох, пошел в болото*; а также инвективные акты, связанные с присвоением адресату различных имен с общим признаком «отвергаемое» – *мразь, сволочь* и мн. др.) Подобного рода деятельность, связанную со знаково-вербальным опредмечиванием и передачей агрессору vindиктивных интенций, зачастую называют одним словом – *проклятие*. Такое широкое понимание проклятия представлено, в частности, в словаре В.И. Даля, где оно определяется посредством

глагола *проклинать, проклясть*, который означает: «црк. предать анафеме, отлучить от церкви; // в гражд. быту: лишать благоволения; изгонять от себя, лишая наследья и всякого общения; // ругать, поносить, призывать на кого бедствия, желать кому зла, ненавидеть» [5, т. 3, с. 490]. Близкое к этому определение проклятия встречается и в Малом академическом словаре русского языка, где оно связывается с 1) крайним, бесповоротным осуждением кого-, чего-л., знаменующим полный разрыв с кем-, чем-л., отторжение (от себя, от общества), а также 2) бранным словом, ругательством [13, т. 3, с. 494–495].

Согласно данным дефинициям проклятие предстает как категориальная (стратегическая) составляющая ВД, реализующаяся (если использовать современные термины) в речеповеденческих тактиках изгнания, поругания и злопожелания, включающего в себя как навлекающие на противника беду паралингвистические, так и вербальные действия.

Вместе с этим существует и узкое понимание проклятия, которое в данном случае приравнивается к злопожеланию в указанных выше разновидностях. Так, в словаре славянской мифологии оно определяется как «словесный ритуал, имеющий целью нанести урон определенному адресату» и представляющий собой «пожелание смерти, болезней, бедности, неудачи, раздоров в семье и пр.», которое «может сопровождаться ритуальными актами, например, бросанием камней, в том числе и на могилу уже умершего человека» [14].

Как бы сегодня ни трактовалось проклятие, оно обнаруживает онтологическую взаимосвязь с центральным элементом ритуала – клятвой. В русской лингвокультуре эта взаимосвязь подтверждается и формально – однокоренными номинантами данных видов знаково-вербальной деятельности, и функционально – возможностью использования (в обыденном общении) переориентированных речевых формул проклятия в значении клятвы. Например:

- *А ты меня не обманешь?*
- *Не обману.*
- *Поклянись.*
- *Чтоб я сдох.*

А также: *Разрази меня гром! Я доведу это дело до конца!*

Или: *Гадом буду! Деньги завтра верну.*

Такая возможность, в свою очередь, обусловлена симметрическим строением формируемого ритуалом в сознании людей гештальта границы: каждому элементу добра (или за-

даваемой обществом и принимаемой индивидом нормой поведения) соответствует элемент зла (или кары за ее нарушение). А поскольку проклятие является знаково-вербальной разновидностью кары, то и использование соответствующих ему, но переориентированных речевых формул в значении клятвы представляется вполне естественным, поскольку эксплицирует то, что содержится в любой клятве – угрозу возмездия за нарушение устанавливаемых границ деятельности.

Нормы поведения в процессе культурно-исторического развития общества могут меняться, но неизменным остается главный атрибут клятвы – неразрывное единство мысли, слова (знака) и дела, за расторжение которого индивид в конечном счете и подвергается проклятию. Данное обстоятельство обуславливает устойчивый характер гештальта границы, на который впоследствии опираются и индивидуальные клятвоприношения, по своему содержанию не имеющие непосредственного отношения к установленным в обществе юридическим или моральным нормам поведения или даже противоречащие им. Проклятие же по-прежнему остается возмездием (если кара осуществляется от имени группы / сообщества) или мстью (если речь идет о межличностных отношениях) за нарушение покоя и согласия, образованного когда-то единением в ритуальном акте мысли, слова (знака) и дела.

Изложенное выше подводит к выводу о том, что развитие ВД связано с двумя уровнями противостояния субъекта (сообщества) угрожающему объекту.

На первом уровне происходит знаковая объективация субъектом (членами сообщества) возникающих в его (их) когнитивном сознании образов устрашающих действий и передача их агрессору с целью изменения его поведения и сохранения в неприкосновенности или демаркации нарушенной им границы. На этом уровне вырабатывается стратегия устрашения, воплощающаяся в тактике угрозы.

На втором уровне (после игнорирования сигнала угрозы противником или нарушения клятвы членом данного сообщества) объективированные и переданные агрессору в акте угрозы образы реализуются в конкретных предметно-практических и производных от них знаково-вербальных действиях. На этом уровне складываются стратегия перверсии (проклятия) и соответствующие ей тактики злопожелания (или проклятия в узком смысле этого слова), изгнания и поругания.

Первый и второй уровни противостояния обнаруживают изоморфизм: вообража-

емым действиям первого соответствуют реальные действия второго. А поскольку первые обусловлены знанием того, как надо вести себя в подобных ситуациях, то можно сказать, что посредством ментально-знаковых презентаций первый и второй уровни относятся друг к другу как предшествующий и последующий опыты участия в ситуациях одного и того же конфликтного типа. Поэтому в виндиктивном высказывании очень часто стратегия устрашения реализуется вместе со стратегией проклятия: *Сдавайтесь, сволочи! А не то заживо всех сожгу!* или *Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку* (А. Пушкин. Капитанская дочка).

В своем развитии ВД подвергается двум взаимосвязанным процессам – ритуализации и косвенно-производной презентации. Данные процессы – феномены неслучайные: в них обнаруживаются некоторые универсальные социально-психологические закономерности формирования дискурсивного сознания и ситуативно обусловленного речеповедения.

Полагаем, что ритуализация виндиктивного речеповедения представляет собой процесс устойчивого воспроизводства речевых структур, связанных своим содержанием с тактиками угрозы, изгнания, поругания, злопожелания, стратегиями устрашения и проклятия и с дискурсивно стереотипной ситуацией военного типа, в которой данное лингвокультурное сообщество преобразуется в единую силу, направленную против чужого закона. Этот процесс налагает на языковую личность (далее – ЯЛ), находящуюся в данном лингвокультурном сообществе, определенные ограничения, которые проявляются в том, что «говорящему предлагаются готовые формы речи, жестко связанные с определенным содержанием, отчужденным, однако, от адресанта» [1, с. 282]. Такое отчуждение ведет к стандартизации речи, что обеспечивается лексико-грамматическими средствами, наиболее эффективно и экономно способствующими решению тех или иных коммуникативных задач. Так, устойчивая речевая структура *я/мы кого-л./кому-л. + глагол насильственного действия* становится главным средством выражения речевой тактики угрозы; а инвективы *мразь, сволочь, идиот* и др. – тактики поругания. Идиоматизация тактики изгнания достигается за счет использования субъектом ВД требования с главным смысловым компонентом – глаголом *идти* в форме повелительного наклонения или прошедшего

времени, который нередко предваряется усиленной частицей *а ну* и, как правило, сопровождается наречиями *отсюда, вон* или *прочь*. Иногда субъект ВД для интенсификации своего намерения причинить адресату-агрессору моральный вред использует глаголы *провалявай, убирайся* и др., а также отправляет своего оппонента к реалиям, ассоциируемым членами этнокультурного сообщества с нечистотой и/или опасностью для здоровья (*иди /пошел (ты) в баню; в болото* и т. д.). Злопожелание в том виде, в каком оно встречается в обыденном речеповедении, также обнаруживает черты идиоматизации, связанные с регулярным использованием речевых структур, лексически ориентированных на причинение адресату физического и/или морального вреда – *чтоб (ты) сдох, чтоб (ты) провалился* и т. д.

Ритуальные высказывания считаются лингвистически неинформативными [1, с. 281], информативным в них является не содержание, а факт места и роли адресанта и адресата [4, с. 121]. Последнее обстоятельство – дейктический (или ориентационный компонент) ВД – и оказывается особо значимым для ситуации военного типа.

Ведение войны, как известно, предполагает овладение высотами – и не только географическими, но и моральными. Захват последних и осуществляется ВД: ведь устрашение и проклятие врага означают также и возвышение над ним адресанта (см.: [7, с. 52]). Враг (или объект ВД) в ситуации военного типа может и не понимать содержания сказанного, его активность как слушателя в данном случае имеет второстепенное значение, и в этом смысле его можно считать потенциальным адресатом. Реальными адресатами-слушателями здесь становятся члены одного с отправителем речи лингвокультурного сообщества. Для них открытое и недвусмысленное устрашение и / или проклятие агрессора является и призывом к совместному противостоянию, и инспиративом, поскольку свидетельствует об отсутствии у агента социального действия страха. Последнее обстоятельство, ассоциируемое с наличием силы, и заставляет людей объединяться, т. к. это означает ее преумножение.

Такая сигнальная двунаправленность ВД: 1) устрашение, проклятие агрессора и 2) призыв к совместному противостоянию – является его онтологическим свойством, восходящим к первым человеческим ритуалам и обусловленным законами внутривидовой конкурентной борьбы. Это свойство закономерно обнаруживается и в текстах – продуктах ВД, наполнен-

ных стандартизированными и ритуализованными вербальными формами и обладающих в силу этого мощным эмоциогенным потенциалом.

Рассмотрим, к примеру, письмо запорожских козаков турецкому султану. Оно, как считают специалисты, было написано в ответ на грубое повеление султана козакам сдаться:

Ты шайтан турецкий, проклятого чорта брат и товарищ и самого Люципера секретарь! Який ты чорта лыцарь? Чорт выкидае, а твое войско пожирае. Не будешь ты годен сыннив христианських пид собою мати; твого войска мы не боимось, землю и водою будем бытьця з тобою. Вавилонский ты кухарь, македонский колесник, иерусалимский броварник, александрийский козолуп, Великого и Малого Египта свинарь, армянська свинья, татарский сагайдак, Каминецкий кат, Подольянский злодиюка, самого гаспида внук и всего свиту и под свиту блазень, а нашего бога дурень, свиняча морда, кобиляча с...ака, ризницка собака, нехрещеный лоб, хай бы взял тебе чорт! От так тоби козаки видсказали, плюгавче! Невгоденеси матери вирных хритиан! Числа не знаем, бо календаря не маем, мисяц у неба, год у кнызи, а день такий у нас, як и у вас, поцелуй за те в с...аку нас! (см.: [8, с. 87–89]).

Можно сказать, что все содержание письма сводится к унижению султана и демонстрации превосходства над ним авторов, что достигается за счет использования козаками стратегий проклятия и устрашения своего адресата. Стратегия проклятия воплощается здесь в тактиках поругания и злопожелания. Для реализации первой тактики авторы прибегают к инвективным номинантам султана «чорта брат, Люципера секретарь, самого гаспида внук, свиняча морда» и др. и идиоматизированному волитиву «поцелуй за те в с...аку нас». Вторая тактика представлена идиоматизированной волеизъявительной конструкцией «хай бы взял тебя чорт». Стратегия устрашения реализуется в тактике угрозы: «Не будешь ты годен сыннив христианських пид собою мати; твого войска мы не боимось, землю и водою будем бытьця з тобою».

При восприятии текста реципиент, вероятно, идет в обратном направлении: от его вербально выраженной формы к тактикам, стратегиям, цели и, наконец, концепту как психическому эпицентру речевой деятельности автора.

Можно рассмотреть и другой, хронологически более близкий к современному носителю русской лингвокультуры, пример. Это –

гимн «Священная война», который в контексте Великой Отечественной войны являлся семантически проработанным и музыкально оформленным сигналом тревоги, поданным авторами (В. Лебедевым-Кумачем и А. Александровым) всем боеспособным членам советского общества.

*Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!*

Припев:

*Пусть ярость благородная
Вскипает как волна!
Идет война народная,
Священная война.
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!*

Припев.

*Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!*

Припев.

*Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб.*

Припев.

*Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!*

Припев.

В собственно лингвистической составляющей этого сигнала, тексте, со всей очевидностью обнаруживаются две, названные выше, коммуникативно-прагматические установки, реализация которых обеспечивается 1) эвокацией и освящением чувства гнева как объединяющей советских людей эмоции (*Пусть ярость благородная / Вскипает как волна*), 2) символическим представлением содержания vindиктивного скрипта (*Загоним пулю в лоб..., Сколотим крепкий гроб*) и 3) оценочной (перверсивной) презентацией объекта (*Гнилой фашистской нечисти..., Отребью человечества*).

Информационная (кластерная) структура текста-сигнала совпадает со структурой изучаемого эмоционально-когнитивного стереотипа, имеющей (в линейном изображении)

следующий вид: эмоциональный фон (гнев) – виндиктивный скрипт – объект.

Значительную эмоциогенную нагрузку при этом несет на себе и музыкальная составляющая данного сигнала. Музыка, как известно, – это «средство одинаково настроить множество людей, дать одинаковый такт их дыханию, биению сердца, состоянию духа, вдохновить на мольбу вечным силам, на танец, на состязание, на военный поход, на священнодействие» (Г. Гессе. *Игра в бисер*).

При наложении текста на музыку особая роль отводится акустическому алфавиту чувств. «Выражая ту или иную эмоцию, – пишет Г. Котляр, – певец в той или иной степени отклоняется от предписанной нотной записи, что и определяет эмоциональную окраску его голоса. Для каждой эмоции характерен свой набор отличительных акустических признаков голоса. Гнев характеризуется резкими “рубленными” фронтами и обрывками звука, большой силой голоса, зловещим шипящим или звенящим тембром» (цит. по: [20, с. 270–271]). Именно с такими, свойственными чувству гнева, акустическими характеристиками и отправляется этот составленный из текста и музыки сигнал боеспособному населению страны.

Всеми вышеназванными обстоятельствами, вероятно, и обеспечивается перлокутивный эффект данного сигнала, который переживается, подхватывается и воспроизводится гражданами страны как призыв к совместному противостоянию и инспиратив в борьбе с агрессором.

Рассмотренный гимн был, конечно же, не единственным сигналом периода Великой Отечественной войны, деструктивно воздействующим на врага и объединяющим своих. В это время в СССР активно работают мастерские деятелей искусств, «Окна ТАСС», «Боевой карандаш» и др., которые выпускают политические плакаты, характеризующиеся такой же функциональной двунаправленностью.

Враг на них предстает в виде бешеного пса, голодной крысы, ястреба-стервятника, вампира и в других карикатурных образах (см.: [12; 2]), при восприятии которых зритель сравнивает то, что видит, с тем, что уже знает: бешеных псов отстреливают, крыс травят и т. д.

Помимо политических плакатов эффективным средством поддержания боевого духа народа во время войны были частушки, которые создавались и на передовой, и в тылу:

1) *Вести с фронта принесла мне / Пташка быстройкрылая. / Пишет милый мой в письме: /*

Здравствуй, моя милая! // У меня же горя – горы, / Слезы – быстрая река. / Виноват во всем тот Гитлер – / Косорылый Сатана! //.

2) *Лето жаркое придется / Для бандитов и ворюг. / Ничего не остается, / Как уматывать «цурюк»! //.*

В контексте вышесказанного ритуализация ВД предстает как санкционированный обществом процесс стандартизации и закрепления в дискурсивном сознании его членов вербальных форм, обеспечивающих однотипную объективацию эмоционального поведенческого концепта «мечь». Данный процесс, в свою очередь, направлен на оптимизацию виндиктивного речеповедения, поскольку стандартизированные вербальные формы легче усваивать и проще воспроизводить, они открыто представляют мысли–чувства–побуждения адресантов и не требуют от адресатов интеллектуальных усилий при декодировании. Все это и определяет их социально-психологическую значимость в ситуации военного типа, требующей от индивида и общества слаженных, оперативных и недвусмысленных эмоциогенных речевых действий.

На их использование в так называемое мирное время, в ситуации иерархического типа, налагаются запреты морального или юридического свойства, которые лишают фрустрированную ЯЛ права реализовать себя как карающую силу в речеповедении. В такой ситуации фрустрированная ЯЛ обрекается на конфликт, в который вступает ее бессознательное со знанием деонтических норм. Если в этом конфликте гнев подавляет страх перед наказанием со стороны сообщества за нарушение принятых в нем правил поведения, то в ход идут все те же, выработанные в ситуации военного типа, стандартизированные и ритуализованные формы виндиктивной речи, что и происходит всякий раз в обыденном, чаще – непубличном, общении:

Ирод! Да чтоб тебе провалиться за такую работу! Пошел вон со двора, а то зашибу чем не попадя (записи живой речи) (в этом высказывании, кстати говоря, ВД являет себя в полном объеме: Ирод – поругание, да чтоб тебе провалиться – злопожелание, пошел вон – изгнание, зашибу – угроза).

Если же чувство гнева оказывается неспособным полностью преодолеть деонтический страх, то происходит активизация речемыслительной деятельности, в результате чего и порождаются косвенные виндиктивные высказывания.

Косвенность виндиктивного речеповедения, основанная на использовании предложений в несвойственных им прагматических функциях, рассчитана, вероятно, на то, что адресат-объект декодирует послание, поскольку имеет общие с адресантом пресуппозиции; а наблюдатель (общество) за неимением таковых может остаться в неведении. Такое, действительно, возможно, если полиинтенциональное высказывание (например: *Мы еще встретимся*) диагностируется наблюдателем вне коммуникативного события. В реально разворачивающемся или реконструируемом событии наблюдатель без труда определит речевой акт угрозы и в приведенном высказывании, и в других, опирающихся на носители традиционно иных иллокутивных сил (например: *Береги себя, Ждите гостей* и др.). Что же в этом случае привлекает агента социального действия в виндиктивных речеактах, смысл которых выводится по правилам имплицатур (по Грайсу [3] – conversational implicatures)? Скорее всего – связанная с использованием нетрадиционных носителей виндиктивной информации двусмысленность, дающая ему возможность в случае скандала сослаться на то, что его не так поняли. Наличие плацдарма для отступления, надо полагать, и делает косвенные формы представления ВД столь распространенными в институциональном, в первую очередь – публичном, общении. Много тому подтверждений можно найти в области политической деятельности (см.: [23]).

Вот пример косвенного поругания независимым депутатом Государственной Думы шестого созыва Дмитрием Гудковым сегодняшних депутатов и председателя палаты, решивших принять поправку в регламент работы Госдумы, предусматривающую наложение штрафа на депутатов, пропускающих пленарные заседания без уважительных причин:

Думский инсайд: в депутатский буфет теперь выстраиваются очереди, в зале душно, кондиционеры не справляются, а лифты перегружены. Это депутаты ходят на работу полным составом. Возможно, взявшись за руки под присмотром пионервожатого Вячеслава Володина (URL: <http://uapress.info/ru/news/show/150487> (дата обращения: 17.12.2016)).

Представляя себе депутатов и председателя палаты как пионерский отряд и пионервожатого, автор ориентирует свое высказывание на понижение социального статуса парламентариев.

В контексте вышеизложенного косвенную презентацию ВД можно рассматривать как уловку речемысли, позволяющую агенту социального действия вербализовывать свои стратегии устрашения и перверсии при формальном соблюдении этических норм общения.

Итак, ритуализация и косвенная презентация ВД – это феномены, порожденные ситуациями военного и иерархического типов и, соответственно, совпадением и расхождением интересов индивида и общества в части речеповеденческой экспликации древнейшего стереотипа сознания по имени «месть». Отсюда – и различия в наборе и иерархии коммуникативно-прагматических установок, реализующихся в ритуализованных и косвенных виндиктивных высказываниях. Первые, можно сказать, ориентированы на сплочение и инспирацию адресата-наблюдателя (общество) на фоне устрашения и проклятия адресата-объекта. Вторые – на устрашение и проклятие адресата-объекта и нейтрализацию (в случае скандала) адресата-наблюдателя (общество). Основанные на страхе и двусмысленные, они лишены мобилизующей и инспиративной силы, которая присуща открытым и понятным ритуализованным виндиктивным высказываниям (текстам).

Из последних рассуждений вытекает и следующий вывод о том, что совпадение / расхождение интересов индивида и общества в части права на реализацию себя как карающей силы также существенно влияет на развитие ВД. Первое (соответствующее ситуации военного типа) ведет к его ритуализации и стандартизации. Второе (определяющее ситуацию иерархического типа) – к дестандартизации и латентности.

Таким образом, если уровни противостояния субъекта (сообщества) угрожающему объекту «ответственны» за формирование стратегий и тактик ВД, то ситуации военного и иерархического типов – за его идиоматизацию и косвенную презентацию.

Список литературы

1. Алефиренко Н.Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры. М.: Academia, 2002.
2. Боевой карандаш. Л.: Художник РСФСР, 1977.
3. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1985. Вып. XVI: Лингвистическая прагматика. С. 217 – 237.
4. Гудков Д.Б. Структура и функционирование двусторонних имен (к вопросу о взаимодей-

- стии языка и культуры) // Вестник Моск. гос. ун-та. Сер. 9. Филология. 1994. № 6. С. 14 – 21.
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Рус. язык, 1979.
6. Ефимов Б.Е. Основы понимания карикатуры. М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1961.
7. Карасик В.И. Статус лица в значении слова: учеб. пособие по спецкурсу. Волгоград: ВГПИ им. А.С. Серафимовича, 1989.
8. Крепкое русское слово. М.: Альта-принт, 2005.
9. Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1983.
10. Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М., 1994.
11. Нойман Э. Происхождение и развитие сознания. М.: Рефл-бук: Ваклер, 1998.
12. Окна ТАСС 1941 – 1945: сб. агит. полит. плакатов периода Великой Отечественной войны. М.: Изобр. искусство, 1970.
13. Словарь русского языка: в 4 т. М.: Рус. язык, 1981 – 1984.
14. Словарь славянской мифологии [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pagan.ru> (дата обращения: 29.12. 2016).
15. Степанов Ю.С. Семиотика. М.: Наука, 1971.
16. Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. Концепт «действие» в контексте мировой культуры // Логический анализ языка. Модели действия / Ин-т языкознания РАН. М.: Наука, 1992. С. 5 – 14.
17. Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаичный ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М.: Наука, 1988. С. 7 – 60.
18. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Союза Советских Социалистических Республик. М., 1975.
19. Ухтомский А.А. Доминанта. СПб.: Питер, 2002.
20. Черепанова И.Ю. Дом колдуньи. Язык творческого Бессознательного. М.: КСП, 1996.
21. Чесноков И.И. Месть как эмоциональный поведенческий концепт (опыт когнитивно-коммуникативного описания в контексте русской лингвокультуры): дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2009.
22. Шаховский В.И., Чесноков И.И. Фрустрации – эмоции – дискурс (к теории vindiktivnogo diskursa) // Языковая личность в дискурсе: полифония структур и культур: материалы Междунар. науч.-практ. конф. М.–Тверь: ИЯ РАН, ТвГУ, ТГСХА, 2005. С. 152 – 159.
23. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса: монография / Ин-т языкознания РАН; Волгогр. гос. пед. ун-т. Волгоград: Перемена, 2000.
2. Boevoj karandash. L.: Hudozhnik RSFSR, 1977.
3. Grajs G.P. Logika i rechevoe obshhenie // Novoe v zarubezhnoj lingvistike. M.: Progress, 1985. Vyp. XVI: Lingvisticheskaja pragmatika. S. 217 – 237.
4. Gudkov D.B. Struktura i funkcionirovanie dvustoronnih imen (k voprosu o vzaimodejstvii jazyka i kul'tury) // Vestnik Mosk. gos. un-ta. Ser. 9. Filologija. 1994. № 6. S. 14 – 21.
5. Dal' V.I. Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo jazyka: v 4 t. M.: Rus. jazyk, 1979.
6. Efimov B.E. Osnovy ponimaniya karikatury. M.: Izd-vo Akad. hudozhestv SSSR, 1961.
7. Karasik V.I. Status lica v znachenii slova: ucheb. posobie po speckursu. Volgograd: VGPI im. A.S. Serafimovicha, 1989.
8. Krepkoe russkoe slovo. M.: Al'ta-print, 2005.
9. Levi-Stros K. Strukturnaja antropologija. M.: Nauka, 1983.
10. Lorenc K. Agressija (tak nazyvaemoe «zlo»). M., 1994.
11. Nojman Je. Proishozhdenie i razvitie soznaniya. M.: Refl-buk: Vakler, 1998.
12. Okna TASS 1941 – 1945: sb. agit. polit. plakatov perioda Velikoj Otechestvennoj vojny. M.: Izobr. iskusstvo, 1970.
13. Slovar' russkogo jazyka: v 4 t. M.: Rus. jazyk, 1981 – 1984.
14. Slovar' slavjanskoj mifologii [Elektronnyj resurs]. URL: <http://www.pagan.ru> (data obrashhenija: 29.12. 2016).
15. Stepanov Ju.S. Semiotika. M.: Nauka, 1971.
16. Stepanov Ju.S., Proskurin S.G. Koncept «deystvie» v kontekste mirovoj kul'tury // Logicheskij analiz jazyka. Modeli dejstvija / In-t jazykoznanija RAN. M.: Nauka, 1992. S. 5 – 14.
17. Toporov V.N. O rituale. Vvedenie v problematiku // Arhaichnyj ritual v fol'klornyh i ranneliteraturnyh pamjatnikah. M.: Nauka, 1988. S. 7– 60.
18. Ustav vnutrennej sluzhby Vooruzhennyh Sil Sojuza Sovetskikh Socialisticheskikh Respublik. M., 1975.
19. Uhtomskij A.A. Dominanta. SPb.: Piter, 2002.
20. Cherepanova I.Ju. Dom koldun'i. Jazyk tvorcheskogo Bessoznatel'nogo. M.: KSP, 1996.
21. Chesnokov I.I. Mest' kak jemocional'nyj povedencheskij koncept (opyt kognitivno-kommunikativnogo opisaniya v kontekste russkoj lingvokul'tury): dis. ... d-ra filol. nauk. Volgograd, 2009.
22. Shahovskij V.I., Chesnokov I.I. Frustracii – jemocii – diskurs (k teorii vindiktivnogo diskursa) // Jazykovaja lichnost' v diskurse: polifonija struktur i kul'tur: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. M.–Tver': IJa RAN, TvGU, TGSXA, 2005. S. 152 – 159.
23. Shejgal E.I. Semiotika politicheskogo diskursa: monografija / In-t jazykoznanija RAN; Volgogr. gos. ped. un-t. Volgograd: Peremena, 2000.

* * *

Cognitive and communicative parameters of the vindictive discourse

The article deals with the mental focus, motive, purpose, strategies and tactics of the vindictive discourse. The interrelated processes of ritualization and indirect presentation of the above mentioned symbolic activities are described. These processes reveal some universal psycho-social regularities of formation of the discursive consciousness and situationally conditioned symbolic behavior.

Key words: *emotional behavioural concept "revenge", vindictive discourse, strategy of frightening, tactics of threat, strategy of curse, tactics of exile, tactics of shame, tactics of evil wish, ritualization, indirect presentation.*

(Статья поступила в редакцию 12.01.2017)

В.И. РАССАДИН, С.М. ТРОФИМОВА
(Элиста),
Б. ТУВШИНТОГС
(Улан-Батор, Монголия)

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ СРЕДИ ТЕРМИНОВ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ (на примере терминов одежды, жилища, домашней утвари)*

Рассказывается о тюрко-монгольских лексических параллелях, касающихся терминов материальной культуры на примере названий традиционной одежды, жилищ и строений, домашней обстановки и утвари в монгольских языках: халха-монгольском, бурятском, калмыцком и старописьменном монгольском, свидетельствующих о бывших контактах монгольских племен с тюркскими.

Ключевые слова: *тюрко-монгольские лексические параллели, монгольские народы, халха-монголы, буряты, калмыки, древние турки, материальная культура, традиционная одежда, традиционное жилище, традиционная домашняя утварь, взаимодействие языков.*

Проблема не только типологической, но и материальной близости тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков возникла свыше 300 лет тому назад в рамках

* Исследование выполнено в рамках проекта № 14-24-03003а (м) «Тюрко-монгольская лексическая общность как результат взаимодействия тюркских и монгольских этносов», поддержанного грантом РГНФ-МинОКН Монголии.

сравнительно-исторического языкознания в Западной Европе как гипотеза о генетическом родстве этих языков, была подхвачена лингвистами и усиленно стала развиваться как алтайская гипотеза. Причём в процессе сравнительного изучения указанных языков было замечено, что наибольшая близость существует главным образом между тюркскими и монгольскими языками. Это послужило основанием разрабатывать отдельно проблему тюрко-монгольской языковой общности и даже попытаться восстановить гипотетический тюрко-монгольский праязык. Так, например, один из классиков алтаистики В.Л. Котвич [8, с. 351] подсчитал, что у тюркских и монгольских языков около 50% грамматических элементов являются общими и существует около 25% общей лексики. Поскольку В.Л. Котвич не привёл перечня общей тюрко-монгольской лексики, возникает настоятельная необходимость восполнить этот пробел в алтаистике и выяснить, насколько он был прав. Особенно актуально установить, в каких тематических группах содержится наибольшее количество общей лексики, какие пласты лексики более проницаемы для иноязычных заимствований, а какие — почти не проницаемы. При этом особый интерес вызывает происхождение этой общей лексики: является ли она действительно исконной тюрко-монгольской, наследницей тюрко-монгольского праязыка, или это результат иноязычного влияния, например тюркского, в разные периоды истории монгольских племён в процессе контактирования с тюрками, начавшемся ещё в доисторическую эпоху на уровне монгольского и тюркского праязыков.

В данной статье мы ставим задачей проанализировать лексику монгольских языков, относящуюся к названиям традиционной одежды, традиционного жилища и домашней утвари, на предмет выявления среди них тюркских соответствий. При этом материал по древнетюркскому языку взят нами из «Древнетюркского словаря» [4], кроме того, данные по древнетюркским, средневековым и современным тюркским языкам, а также архетипы тюркских лексем были нами взяты из «Сравнительно-исторической грамматики тюркских языков. Лексика» [12]. При необходимости привлекались и имеющиеся словари современных тюркских языков. Данные по монгольским языкам были почерпнуты из старомонгольских словарей О. Ковалевского [7], К.Ф. Голстунского [3], Ф. Лессинга [15], а также из современного